

НЕМЕЦ НА ЗАКАЗ: ОБРАЗ ФАШИСТА В СОЦРЕАЛИЗМЕ

Михаил Рыклин

Больше полувека назад, в январе 1948 года, в Минске погиб председатель Антифашистского еврейского комитета, знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс. Хотя официально причиной смерти был назван несчастный случай, теперь достоверно известно, что это было спланированное органами госбезопасности убийство. В конце этого же года было арестовано руководство Антифашистского еврейского комитета, а в августе 1952 года арестованные — пятнадцать поэтов, писателей, ученых, журналистов (за исключением одной женщины, биолога Лины Штерн) — были расстреляны по настоянию Сталина.

Большинство подсудимых обвинялось в причастности к составлению книги. Причем книги, которая создавалась с разрешения и под руководством идеологического отдела ЦК партии, неоднократно редактировалась, но по окончании работы была, тем не менее, признана идеологически вредной, противопоставляющей евреев всем другим народам СССР, к тому же своевольно опубликованной в Америке при содействии «еврейских националистов из США и Палестины». Казненные даже не были авторами книги — она была задумана как сборник документов и свидетельств очевидцев и жертв геноцида, систематически проводившегося нацистами в 1941—1945 годах на оккупированных территориях Советского Союза. Более того, редакторы книги, И. Эренбург и В. Гроссман, не были привлечены к суду. Пришел момент назвать фатальную книгу: это созданная в 1944—1947 годах по инициативе Альберта Эйнштейна «Черная книга». В основном она состоит из рассказов жертв и свидетелей геноцида, дневниковых записей (некоторые из авторов погибли), допросов исполнителей массовых убийств, свидетельств советских военных, заставших превращенных в живые трупы людей уже после освобождения и т. д.

Илья Эренбург недоумевал, когда от составителей потребовали «хорошей», «правильной» книги: «Так как авторами книги являемся не мы, а немцы, а цель книги ясна (собрать свидетельства очевидцев — *М. Р.*): Я не понимаю, что значит “если будет хорошей”: это не роман, содержание которого неизвестно». Объявляя немцев авторами «Черной книги», писатель несколько упрощает ситуацию: фашисты были «авторами» геноцида (что в данном случае означает «авторство», нуждается в обширных пояснениях), а не связанного с ним архива. Более того, они, как и другие репрессивные режимы, сделали все для того, чтобы уничтожить максимальное число следов. К тому же и «Черная книга» редактировалась, свидетельства систематически прореживались там, где их фактичность противоречила советским идеологическим постулатам; например, безжалостно вымарывались все упоминания соучастия местного населения в уничтожении евреев, подробности немецких зверств, «натурализм» которых воспринимался как трансгрессивный, если не как порнографический и т. д.

Я не припомню книги, из-за которой погибло бы столько людей. Несколько купюр в «Цветах зла» и небольшой штраф за «Мадам Бовари» не идут в сравнение с той ценой, которую за простую причастность к этой книге (а не за авторство) заплатили члены Антифашистского комитета. Поразительно и другое: «Черная книга» не опубликована в России до сих пор, даже после исчезновения всех

цензурных барьеров, когда, казалось бы, уже издано все — от «120 дней Содома» до «Тропика Рака». Почему же, спрашиваю я себя еще раз, сталинский режим с такой жестокостью карал за рассказ о преступлениях, которые совершил *не он, а враги*, с которыми он ожесточенно боролся и которых победил? Почему прекрасный материал для антинацистской пропаганды обернулся против его собирателей? Конечно, подобный эффект не планировался национал-социалистами, отождествлявшими — по крайней мере на официальном уровне — коммунизм, как и капитализм, с интригами мирового еврейства. По их логике, советская коммунистическая власть, державшаяся прежде всего на евреях, должна была предать особенно громкой огласке именно этот геноцид; поэтому в конце войны они лихорадочно заметали следы содеянного. Ничего подобного не произошло: *сталинизм в соответствии со своей внутренней логикой* сделал все от него зависящее, чтобы не признавать уничтожение миллионов евреев (и тысяч цыган) на своей и сопредельных территориях. И, если вдуматься, это не так уж и непостижимо. Рассказывая о геноциде, пострадавшие евреи, субъективно в основном чувствовавшие себя советскими людьми, совершали *идеологическое* преступление — впервые создавали архив, неподконтрольный господствующему режиму и уже поэтому неприемлемый для него. Сколько бы ни пытались этим архивом манипулировать, как бы его не прореживали, было очевидно, что СС, полиция и их помощники из местного населения (скрытые за эвфемизмом «полицай») уничтожали в гетто, лагерях, местечках и т. д. не исключительно, но прежде всего евреев. За невозможностью «отредактировать» это обстоятельство, составлявшее суть архива, его собирателей реперессировали — фактически за то, что посредством совершенных немцами преступлений из монолитного советского народа выделялась в качестве аллогенного элемента его часть, грозившая разрушить стройную картину мира. Тоталитарные системы оказались абсолютно непрозрачными друг для друга, так как вектор и логика террора в обоих случаях была совершенно разной. Их роднил разве что одинаково сильный запрет на натуралистическое изображение насилия. Создание «Черной книги» в последние годы войны было уступкой мировому, прежде всего американскому общественному мнению, от которого зависела помощь воюющему СССР. С началом холодной войны необходимость в этой уступке отпала, и аллогенный элемент стал неприемлем. Любопытно, что и тогда враг с национал-социалистической прямоотой не назывался евреем, скрываясь за ярлыком «безродный космополит». Возникшая в результате мифология войны послужила настолько фундаментальным механизмом легитимации советского строя, что пережила его, и в некоторых своих фрагментах длится до сих пор. Только ее «расколдовывание» сделает войну событием, относящимся к историческому, а не к «вечному» времени.

«Черная книга» показывает, что уничтожение евреев было продуманным, упорядоченным (везде прослеживается одна и та же последовательность действий) процессом и вместе с тем сопровождалось постоянными и непредсказуемыми капризами палачей. Никакие законы и предписания не в силах объяснить наслаждения от мучений и издевательств, которым подвергали жертв агенты террора. Это наслаждение — в лакановском смысле: предполагающее крайнюю степень страдания — образует чистый избыток, *неподдающуюся закону* изнанку его самого. На наших глазах измышляется закон, законом становится малейшая прихоть последнего охранника и полицая. Любой произвол тут же освящается именем закона. Трудно свести этот вид террора к извращению технической рациональности, плодящей «обыденность зла», бюрократов умерщвления. Газовая камера является одним из многих механизмов уничтожения наряду с другими, а не вершиной строго упорядоченной, иерархизованной пирамиды. Чтение этой книги наводит на мысль, что на протяжении всего периода войны существовало огромное количество не поддающихся глобальному обобщению видов массового

истребления: сотни тысяч жертв геноцида были расстреляны в противотанковых рвах и вырытых ими же могилах, умерли от непосильного труда или были «добиты» охраной; тысячи погибли по приказу палачей (в соответствии с «логикой уничтожения» их смерть наступила бы позднее); десятки тысяч в «душегубках»; миллионы в газовых печах лагерей уничтожения. Эти и многие другие виды смерти одинаково существенны, я не стал бы превращать наиболее индустриальные формы в модель для всех остальных. Создается впечатление, что палачи испытывали столь же сильную потребность в прямом телесном контакте со своими жертвами, в театрализации убийства, как и в ее постановке на конвейере. На всей территории СССР, где погибло около миллиона евреев, не было ни одного «лагеря уничтожения», оснащенного газовыми камерами. Многочисленность жертв также не может служить критерием иерархизации, потому что механизмы уничтожения качественно отличны один от другого, а при их соподчинении как раз качество пропадает.

В «Черной книге» вовсе не отрицается ужасное обращение с военнопленными — иногда им приходилось даже хуже, чем обитателям гетто — и жестокость в отношении других народов. Просто эта жестокость была более избирательной, направленной на сопротивляющихся, а не на любых представителей этих народов. Еврей — женщина, старик, ребенок, православный, католик — автоматически приравнивался к коммунисту и подлежал уничтожению, тогда как в других случаях это нуждалось в доказательстве (часто достаточно произвольном). Растворяя евреев в «мирном советском населении», сталинский режим полностью менял логику нацистов, настаивавших на примате «крови». Расовый вектор заменялся вектором политическим: людей, в соответствии с этой новой логикой, убивали за то, что они были советскими гражданами, поголовно сопротивлявшимся оккупационным властям. Гитлеровцы убивали этих людей потому, что советское в их глазах было синонимом коммунистического. Тем самым количество советскости *post factum* приписывалось огромному числу людей, которые в 1941—1945 гг. имели все основания быть недовольными советской властью. Приписываемая им «идеальность» была эффективной в том смысле, что служила основанием для дальнейших репрессий. И это понятно: когда принадлежащее людям по праву — достаток, семейная традиция, национальность, принадлежность к сословию — объявляется фикцией, тем самым одновременно выдается санкция на приведение их прошлого в соответствие с этой фикцией, становящейся единственной реальностью. Раскулаченный крестьянин имел основания мстить тем, кто отнял его собственность. Провозглашая его просто советским человеком, мы превращаем его месть, имевшую достаточно прозрачную причину, в акт Великой Измены, которую ничто не способно объяснить. И хотя мстил этот крестьянин не тем, кто его ограбил, а тем, на кого указывал повелевающий перст оккупационных властей, т.е. в той ситуации зачастую евреям, из этого не следует, что у него не было реального мотива для мести. Идеологическая хитрость состоит в том, чтобы его этого мотива лишить. Воспользовавшись фашизмом как алиби, советская власть задним числом ликвидировала самую кровопролитную эпоху *в своей собственной истории*, начало которой кладет коллективизация. Независимо от субъективных намерений информаторов и составителей, «Черная книга» оказалась препятствием на пути тотальной мифологизации, давая социологически более достоверную, но идеологически неприемлемую картину событий. Поэтому она не только не была напечатана, но и послужила основанием для репрессий против ее вдохновителей. Постоянно ретушируя и переиначивая собственную историю, сталинская идеология не могла допустить и какой-то независимой от нее истории нацистской Германии. Ликвидацию этой истории постепенно приучились рассматривать как военный трофей, как право народа-победителя. Уже «Черная книга» содержала ряд важных идеологических мутаций. Если верить од-

ному из напечатанных в ней рассказов, в минском гетто не только существовала разветвленная партийная организация, связанная с партизанами, имевшая свой радиопередатчик, доставлявшая в гетто оружие, но, оказывается, многие обитатели гетто знали наизусть речи Сталина и Калинина. Это плохо сочетается с предыдущим документальным текстом: описываемые в нем масштабы сопротивления значительно скромнее, а связь с идеологической Родиной — куда слабее. В «Черной книге» есть и художественные тексты. Если И. Эренбург считал авторами этой книги немцев, участвовавших в геноциде евреев, другой ее редактор, В. Гроссман, полагал, что главная задача книги — «говорить от имени людей, которые лежат в земле и не могут ничего сказать». Его очерк «Треблинка» и «Дети с черной дороги» В. Апресяна представляют основанные на документальном материале повести, где черты немцев подвергаются сильной типизации, создаются «характеры». Можно сказать, что в этих текстах закладывается основа того, что с некоторыми (существенными) изменениями станет каноном советской литературы о нацизме. Апогеем этой ветви соцреализма является «Молодая гвардия» А. Фадеева, окончательная версия которой вышла в 1951 году, незадолго до расправы с членами Антифашистского еврейского комитета. СССР оставил после себя сложнейший антиархив, в котором кропотливым исследователям предстоит осторожно снимать один пласт за другим, чтобы в конечном счете обрести контуры первоначального архива (далеко не исчерпывающегося «Черной книгой»). Только тогда «новая историческая общность» станет действительно исторической и одновременно будет дописана одна из глав в истории Третьего Рейха.

Подведу некоторые итоги. Хотя почти все хронисты «Черной книги» симпатизировали советской власти и ждали прихода Красной армии как освободительницы, именно созданный ими архив *помимо их воли* оказался систематическим вызовом, брошенным советской мифологии изнутри. В формирование советской истории вмешались неподконтрольные сталинскому руководству силы. Рассказ о действии этих сил был признан фиктивным и вместо него под контролем партии сформировалась новая «ортодоксальная» версия происшедшего. Конечно, сталинская идеология скрывает расовый вектор нацистских репрессий не из любви к поверженному гитлеровскому режиму, а в соответствии со своей внутренней логикой, не допускавшей выделения из единого советского народа некой абсолютной жертвы, тем более выбранной по признаку «крови». Более того, пролитая в войне кровь должна была послужить основанием для еще более тесного объединения советского народа в единую семью. В силу этого врага надо было не только победить, но и ликвидировать логику его действий в сознании победителей, заменив ее своей собственной, придуманной позднее, но объявленной изначально. Победа должна была завершиться насилием дискурса, формированием приемлемого образа врага.

Пятьдесят лет тому назад решение об окончательном запрете «Черной книги» было принято в Москве человеком (тогда только что назначенным секретарем ЦК), которому предстояло сыграть огромную роль в брежневский период — М. А. Сусловым. Впоследствии под его руководством было «ликвидировано» множество других событий советской и зарубежной истории. Жертв фашистского режима заставили пережить еще одно унижение — то, что заставляло их страдать, было объявлено фикцией и заменено другой, «правильной» причиной. Только деконструкция конкретных механизмов создания вторичной советской мифологии из первичной нацистской позволит нам если не восстановить историческую справедливость, то по крайней мере еще на один шаг приблизиться к пониманию собственной истории.

Обе истории, «Черной книги» и «Молодой гвардии», восходят к 1943 году. На этом сходство во внешней канве событий, пожалуй, и кончается. Если руководители Антифашистского еврейского комитета С. Михоэлс и И. Фефер получили

от ЦК партии разрешение на создание «Черной книги» во время их чрезвычайно успешного в финансовом отношении (было собрано несколько миллионов долларов) визита в США после «длительных телефонных переговоров»¹ с Москвой, и его можно рассматривать скорее как уступку воюющей страны мировому общественному мнению, то член ЦК, депутат Верховного Совета А. Фадеев не испытывал ничего похожего на эти трудности — сразу после освобождения маленького шахтерского города Краснодона его откомандировали туда для написания книги о героизме комсомольцев-подпольщиков, ставшей впоследствии классикой соцреализма, частью обязательной школьной программы, сценарием известного фильма и т. д. Автор получил за «Молодую гвардию» Сталинскую премию в 1946 году и тогда же стал генеральным секретарем Союза писателей СССР. Авторам же и вдохновителям «Черной книги» была уготована (см. «Черная книга: полвека спустя» — «Искусство кино», № 4, 1988) совершенно иная, противоположная судьба. Задуманная как сборник документов, книга о геноциде против советских евреев быстро переросла в полухудожественное произведение, где документальные материалы перемежаются с отредактированными писателями воспоминаниями уцелевших жертв и просто художественными произведениями, более или менее основанными на документальном материале (причем, не обязательно написанными профессиональными писателями). Но и с жанром «Молодой гвардии» все не так просто. Это откровенно художественное произведение также отчасти претендует на документальный статус: о подвиге комсомольцев Краснодона писатель узнает из документов и свидетельств очевидцев; поэтому в романе есть, по признанию автора, «с точки зрения чисто художественной — “лишние” действующие лица»: «Я не имел права устранить из романа Виктора Петрова... Мне, как художнику, можно было бы не выводить в романе образ Евгения Мошкова. Но я не имел права забыть о нем, потому что Женя Мошков был одним из руководителей “Молодой гвардии” и директором клуба, который был создан молодежи...»² Кроме того, хотя большинство персонажей книги носят вымышленные имена, их прототипы действительно существовали, что бы ни понималось под этим «действительно» (тем более что в этом тексте я намеренно отвлекаюсь от рассмотрения способов, какими фикция работает внутри документа и внутри художественной прозы и почему определенная доля вымысла и в том, и в другом случае неизбежна). Впрочем, одно следует отметить: если для Фадеева художественное доминирует над документальным («...Я не писал историю “Молодой гвардии”, а писал художественное произведение, в котором, наряду с действительными героями и событиями, наличествуют и вымышленные герои и события», — писал он в 1948 году в письме к Жданову), хотя и непонятно, в какой мере, то для создателей даже наиболее «художественных» текстов «Черной книги» верно обратное: попытка «говорить от имени мертвых» (Гроссман) содержит в себе стремление сохранить их оригинальные голоса, истории и судьбы, автор как бы признает свою собственную вторичность.

Меня интересуют образы немцев в обоих книгах, прежде всего нацистов, хотя как нацисты в «Молодой гвардии» подаются и обычные солдаты вермахта. Эти образы интересуют меня в действии, стало быть, вместе с теми, против кого они боролись, кого они уничтожали и кто пытался им противостоять. Здесь важна параллельность обоих проектов во времени, то обстоятельство, что это — конкурирующие проекты, из которых в тоталитарном обществе канонизирован мог быть только один, настолько различны лежащие в их основе предпосылки.

В «Черной книге» в описании образа действия немцев прослеживается то, что не покрывается никакой общей социальной теорией: в их поступках по отношению к евреям есть чистый избыток, который не объясняется приказом, повелением или законом. Я бы назвал этот избыток фактором наслаждения (естественно, в лакановском смысле, не только не исключающем, но предполагающем вы-

сокую степень внутреннего страдания), существенном при проведении в жизнь «окончательного решения». Этот избыток граничит с абсурдом и необъясняем суровостью приказа; более того, приказ становится невыносимо суровым только потому, что существует чистый избыток. Приведу один пример. Фельдфебель Ганс Дегнер, надзиравший за работами на аэродроме под Вильнюсом, приказал двадцати «провинившимся» евреям бежать один километр наперегонки. Десять финишировавших первыми он обещал оставить в живых, остальных — расстрелять. «Дегнер сел на велосипед, скомандовал «Бегом!», и двадцать человек, сорвавшись с места, ринулись вперегонки. Дегнер ехал рядом, как судья на спортивных состязаниях. Несчастные бежали, напрягаясь изо всех сил. Тут были и юноши, и пожилые пятидесятилетние люди. Один из бежавших упал — у него произошел разрыв сердца. У самого финиша упал второй. *Но Дегнер обманул: добежавших первыми он расстрелял, а оставшихся помиловал* (курсив мой — М. Р.)»³. Этот элемент сверхсистемного наслаждения нарушением данного слова, упоением своеобразной порнографией творения фиксируется не носителем избытка, а исключительно теми, на кого он направлен. Да, теория — что по-гречески означает «созерцание», «смотрение, рассматривание издали, с существенного расстояния» — не в силах этот избыток объяснить, но мы должны как-то с ним работать — ведь без него не могут быть прочитаны многие тексты «Черной книги». В не охватываемой теорией зоне близкого контакта все чудовищно и повторяемо одновременно; собственно, это чудовищное чудовищно тем, что принимает форму дурной бесконечности, повторяемости. Именно адский механизм повторения мешает чудовищному стать уникальным, неслыханным, неповторимым.

Поступок Дегнера не исключение, а правило. Так действовали все три «хозяйина» вильнюсского гетто. Первый из них, обершарфюрер Хорст Швайнбергер, к примеру, согласился «за очень крупную взятку» отпустить из тюрьмы восьмерых евреев. Когда одна из жертв уже выходила за ворота, она случайно зацепилась платком за пуговицу на шинели Швайнбергера, и он скомандовал «Назад!»: Пуговица стоила ей жизни⁴. Он же требовал называть себя «отцом» и однажды подарил женщине, которая пела за работой, золотую брошь, только что снятую с убитой: «Ваш голос довел меня до слез, — сказал он»⁵. Сменивший его Мартин Вайс также меньше всего был похож на человека, бесстрастно выполняющего приказы сверху. Перед тем, как расстрелять молодую девушку, он шептал ей о красоте мира и о том, что она не должна умирать. При этом он незаметно вынул пистолет и прицелился. Потом выстрелил, расхохотался и потащил агонизирующую к яме. «Ликвидатор» вильнюсского гетто Бруно Киттель был профессиональным артистом и по воскресеньям исполнял по радио песенки на саксофоне. «Когда происходило истребление Виленского гетто, Киттель приказал вынести ему на двор пианино, и начал играть»⁶. Играя, он левой рукой застрелил найденного в укрытии («малине») юношу, молившего о сохранении жизни. Он предложил побрившему его парикмахеру покурить, но вместо огня убил его выстрелом из пистолета. Этот выстрел был сигналом к началу погрома.

В Риге один сотрудник писал диссертацию об «историческом способе поведения людей». «Эта “диссертация” обошлась в тридцать пять еврейских жизней»⁷. Число подобных примеров умножаемо *ad infinitum*.

Но капризы были не только исполнители закона, но и сам закон. Точнее, любой каприз мог стать законом, так что наказание за его неисполнение носило характер импровизации. Обитателям гетто нельзя было смотреть в окна, выходящие за его пределы, говорить по-немецки, разговаривать о политике, общаться с неевреями, носить усы, есть жиры (в других местах мясо, ягоды, молоко и пр.), молиться, учиться, появляться без шестиконечной звезды, ходить по тротуару, приносить цветы, рожать детей и многое-многое другое. За все это можно было поплатиться жизнью.

Читая эти страницы, невольно спрашиваешь себя: не является ли историческое веселье необходимым сопровождением массового убийства? Ведь, говоря об убийстве вредных насекомых, убивают все-таки людей, т.е. самих себя. Неконтролируемое наслаждение и есть в таком случае бессильная попытка компенсировать неизбежное в таких случаях отождествление. Это правило распространяется не только на специальные части СС, но и на полицейские батальоны, зенитчиков, железнодорожников, приехавших с концертами артистов, вызвавшихся участвовать в расстреле добровольно, и, конечно, на полицейских из местного населения.

Идеология, собственно, и устроена как машина по превращению чистого избытка в выполнение приказа, наслаждения в принуждение. В этом отношении советская идеология не менее жестка, чем нацистская. Одной из причин обрушившихся на «Черную книгу» репрессий была ее невольная «порнографичность»: ее герои слишком часто напоминали персонажей из романов маркиза де Сада, а логика их поступков представляла собой парадоксальную смесь абсурдности и сверхсистематичности, чрезмерности и повторяемости. Фашисты не только постоянно делают нечто сверх того, что поддается идеологическому объяснению, но и нарушают фундаментальный для советской речевой культуры запрет на публичную театрализацию насилия, превращая тем самым скрытые пружины не только немецкой, но и советской террористической машины в явные. Этого зрелища быть не должно, и если его нельзя ликвидировать в «реальности», следует по крайней мере стереть память о нем, ликвидировать его на уровне дискурса. Несмотря на то, что «этот роман», по выражению Эренбурга, был написан не нами, «отвечать» за него предстоит не авторам, а свидетелям: увиденное должно стать невидимым, а увиденное должно быть то, что подконтрольно аппарату идеологического, коллективного зрения и тем самым ортодоксально. Почему так негативно относились после войны к людям, попавшим в оккупацию, а тем более в плен? Не потому ли, что пусть не по собственной вине, но они видели то, что не должны были видеть и что могло стать метафорой того, что идеологически не должно быть видимо принципиально. На момент окончания войны еще не существовало ортодоксального образа врага. Его еще предстояло создать, так как поверженный эмпирический враг имел с этим образом мало общего. Но победа была необходима для доведения этой работы до конца. Можно было также догадаться, что идеологическая операция такого масштаба, как создание ортодоксального образа врага, радикально изменит и образ жертвы. Посмотрим, насколько сбылись эти предположения на примере «Молодой гвардии» и ряда других, значительно менее авторитетных текстов. Число их, прямо скажем, невелико, так как до создания ортодоксального, широко транслируемого образа писать на эту тему было рискованно и бесперспективно.

Любопытно, что в «Черной книге» упоминается и маленький шахтерский городок Краснодон, которому предстояло сыграть в формировании образа фашиста столь значительную роль: «В Краснодоне и Тихорецке летом 1942 года я, — рассказывает допрашиваемый ефрейтор Альберт Эндер, — видел плакаты, в которых объявлялось о том, что евреи, не явившиеся к областному комиссару, будут немедленно расстреляны. Гражданское население иногда спрашивало у нас, за что уничтожают евреев. Рядовые солдаты могли только в ответ разводиться руками»⁸. Возможно, последнее утверждение является самооправданием ефрейтора, но в остальном в Краснодоне все происходило так же, как и в других местах: регистрация, введение специальных знаков отличия, сегрегация и последующее уничтожение. Расовый вектор уничтожения также неизменен, что, конечно же, не исключает расправ с представителями других этносов на несколько других основаниях. Право создания ортодоксального образа врага неслучайно достается именно А. Фадееву, члену ЦК и депутату Верховного Совета СССР — ведь это задание поистине государственной важности. Фактически поверженный враг дол-

жен быть ликвидирован литературно по правилам, которые отчасти еще предстояло изобрести; этот акт обязан казаться художественно полнокровным и быть идеологически приемлемым.

Писателю в общем и целом удалось выполнить это задание: созданные им образы немцев и их жертв — независимо от того, насколько они были далеки от исторической достоверности, а возможно как раз благодаря этой отдаленности — активно внедрялись и постепенно внедрились в массовое сознание, в конце концов им овладев. Процесс типизации нациста, превращения его в «характер» начался уже в «Черной книге» (в «Треблинке» Гроссмана, в «Подпольном боевом центре в Минском гетто» Г. Смоляра (кстати, он — не профессиональный писатель), в «Детях с черной дороги» В. Апресьяна и ряде других). Но это были, так сказать, полухудожественные тексты, для которых первоначальное документальное свидетельство было еще очень значимо, во всяком случае провозглашалось таковым. Фикция в них вышивается по канве событий, которые очевидцами воспринимались как реальные, имевшие место. В целом нацисты поданы в «Черной книге» довольно четко; они названы по званиям и именам (иногда с мелкими ошибками, объясняющимися плохим знанием немецкого языка), описаны их мелкие идиосинкразии, перверсии, странности поведения и т.д. Казалось бы, это прекрасный материал для дальнейшего исследования, наброски образов, картины действий, последовательность шагов, ведущих к «окончательному решению». Но Фадеев пошел принципиально иным путем: его интересовал не мимесис случившегося, а произведение на свет новой реальности. Он буквально заново выводит своих немцев в пробирке в соответствии с правилами гипотетической народной психологии и идеологической установки, которая до написания «Молодой гвардии» существует лишь в очень общем виде.

Пожалуй, больше всего страниц в «Молодой гвардии» посвящено ротенфюреру СС (иногда его также именуют «унтером», хотя это звание соответствует армейскому званию ефрейтора) Петеру Фенбонгу. От него постоянно исходит дурной запах такой силы, что другие немцы при виде его зажимают нос или отступают на несколько шагов. Об этой вони говорят прямо в его присутствии, но эсэсовец не обижается. У него также «бабий голос»: «Человек с бабьим голосом что-то пискнул... все засмеялись. Тяжело ступая коваными ботинками, он вышел»⁹. Фенбонг носит очки в светлой роговой оправе, у него золотые зубы и он немного похож на интеллигента (конечно, из сталинского фильма о ведущей роли рабочего класса: «Очки в светлой роговой оправе придавали эсэсовскому унтеру вид если не ученый, то, во всяком случае, интеллигентный»). Он растолстел на хороших эсэсовских харчах. Но главная, тщательно скрываемая тайна ротенфюрера — то, почему он месяцами не только не моется, но и не меняет нательное белье. Ее разгадка равносильна разгадке природы фашизма. Один раз автор «Молодой гвардии» дает ему возможность помыться, перед этим тщательно завесив окно черной бумагой. Белье Фенбонга находится поистине в плачевном состоянии: «Белье, не сменявшееся несколько месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его и прокисшего пота и изжелта-черным от линявшего с изнанки мундира (т. е. Фадеев полагает, что и подкладка эсэсовских мундиров черная — *М. Р.*)»¹⁰. Сначала он начинает бешено чесать свое полное белое тело, после того, как снимает с него «своеобразные вериги». Это были даже не вериги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, какую носили в старину китайские солдаты. Это была... длинная лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петра Фенбонга крест-накрест через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Сбоку она была стянута замызганными белыми тесемками, завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, размером с обойму, карманчиков была туго набита, а меньшая часть была еще пуста»¹¹. Лента Фенбонга в описании Фадеева напоминает пулеметные ленты, которыми опоясывали себя — правда,

снаружи, а не изнутри — революционные матросы в фильмах об Октябре 1917 года, но писатель избегает этой неожиданной аналогии, предпочитая сравнивать «вериги» Фенбонга с лентами для патронов старых китайских солдат. От ленты на теле эсэсовца образовался «темный след того нездорового цвета, какой бывает от пролежней». Удовлетворив зуд, унтер вынимает похожий на кисет кожаный мешочек с тридцатью еще не распределенными по кармашкам золотыми зубами. Разложив их по пустым карманам, этот «скупой рыцарь» не может удержаться от того, чтобы не взглянуть на все собранные им сокровища: валюты разных стран, монеты и купюры, кольца, перстни, булавки, броши с драгоценными камнями и без них, «и отдельно кучки драгоценных камней и золотых зубов». Он знает историю каждой вещи, каждого зуба, ибо последние годы «он лишь этим жил — остальное было уже только видимостью жизни»¹².

Затем начинается центральная сцена, которую мы изучали в школе как образец соцреалистического проникновения в сущность вещей: беседа Фенбонга с чистым и богатым господином (персонификацией капитала), который осмеливается осуждать его способ обогащения как грубый и аморальный, «как бы грязный». Здесь важен вывод: «Я плоть от вашей плоти, я ваш двойник, я — это вы, если вас вывернуть наизнанку и показать людям, каковы вы на самом деле. Придет время, я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски...»¹³ Фадеев не прав, утверждая, что Фенбонг одержал победу над этим воображаемым «джентльменом», напротив, он совпал с ним, оказался тождественным ему, тот растворил эсэсовца в себе. Для победы нужно сохранить логический статус Другого, а здесь он полностью исчезает. Любопытно, что унтер начинает мыться только после окончания спора с джентльменом-капиталистом. Метафора материализуется, грязный ротенфюрер после разговора отчасти отмывается («Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил себя...»). И еще одно мелкое, но существенное обстоятельство: Фенбонг среди прочего коллекционирует советские сотенные купюры, от которых не ожидает материальной выгоды, но оставляет у себя, «так как жадность его уже переросла в маниакальную страсть коллекционирования»¹⁴. Эта страсть, на Западе считающаяся чисто художественной, писателю представляется чем-то большим, нежели простая жадность, хотя жадность по определению направлена на нечто приносящее выгоду. Становясь бескорыстной, жадность парадоксальным образом не уменьшается, а увеличивается. Это очень важно, так как *дереализует* образ врага, делает его абсурдным. В «Черной книге» много раз описывается процедура сортировки вещей убитых, вырывания зубов у трупов и пр. Но ни разу палачи, прежде всего члены СС, не называются грязными, не носят свои «богатства» на себе — у них было множество других способов поживиться награбленным. К тому же у них всегда доминируют соображения карьеры. В основном сортировка возлагается на самих жертв. Были и немцы-коллекционеры, как, например, некто Майер из Вены, «ревностный католик». Он собирал коллекцию знаков отличия, которые носили убитые евреи в разных странах, приказывая оставлять ему по одному экземпляру этих эмблем: «А знаки были самые разные: белый, четырехугольный с желтым кружком, в центре которого буква “J” (Jude), синяя нарукавная повязка с белой шестиконечной звездой, желтая шестиконечная звезда с черным кружком, со словом “Jude”, которую носили чешские евреи, заплаты желтые, одна шестиконечная звезда, латы красные, четырехугольные и так далее. Затем были бляхи с номерами, которые в Вильнюсе носили на шее, помимо латы. Разного рода и цвета документы и удостоверения по одной штуке — все это представлялось Майеру, набожному католику, на сохранение для будущих времен в качестве памятника старой Европы»¹⁵. Цель, с которой собирается эта коллекция, не объясняется, но это явно не обычный грабеж, каким занимались многие сотрудники

гестапо. Ненужность, материальная незначимость этих «знаков» отличает их от вещей, за которые шла борьба: «Из-за платья гестаповцы нередко ссорились и дрались, хотя каждый из этих разбойников успел вволю награбить всякого добра»¹⁶. Фадеев полностью меняет эту логику, доказывая, что грабеж является разновидностью первоначального накопления, через которое проходит любой капитал, что он по сути ничем не отличается от функционирования обычного капитала. Коллекционирование оказывается прямым продолжением разбоя, а грабители — заправскими капиталистами, что, собственно, и требовалось доказать. Особенно это важно в случае Фенбонга, потому что пытаются и убивают в романе в основном он и его люди. Стало быть, это также делается ради тех же целей, какими руководствуются господа-капиталисты, эти добела отмытые Фенбонги. Тем самым материализуется «марксистская» метафора, дереализующая образ врага. Отсюда, как нам предстоит убедиться ниже, вытекает ряд важных следствий, касающихся самих молодогвардейцев. «Лента Фенбонга» является идеологическим конструктом первостепенной важности именно благодаря тому, что такой эсэсовец в принципе невозможен. Исторически невозможное становится логически необходимым.

Если Фенбонг репрезентирует низы нацистской иерархии, то наверху пирамиды находится генерал барон фон Венцель. Почему этот важный генерал, руководящий наступлением немецких армий, перед которым навтыяжку стоят другие генералы, поселяется в доме Кошевых в двух комнатах в Богом забытом Краснодоне, так и не объясняется. Первый приказ этого стратега после вселения к Кошевым — срубить деревья, кусты жасмина, цветы и подсолнухи вокруг хат. На удивленные вопросы обитателей города о причинах этой вырубке немцами дается такой ответ: «Партизанен — пу! пу!» От странного генерала исходит «сложный парфюмерный запах», он высок, у него усталые водянистые глаза, его лицо и кадык чисто вымыты. Чисто промытые морщинки и кадык упоминаются много раз, видно, автор высоко ценил эту находку. «Генерал был чистоплотный человек; дважды в день, утром и перед сном, он мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана специальная уборная...»¹⁷ Но его внешняя чистота противопоставляется грязи того, что совершается по его приказу. «Он часами сидел над картой, надписывал, и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам... По приказу генерала Венцеля и с его холодного молчаливого согласия возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков. В каждом доме что-нибудь отбирали... сало, мед, яйца, масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком... что казалось — ничто дурное и грязное не в силах достичь до сознания генерала»¹⁸. Т. е. генерал оказывается двойником Фенбонга — только он грязен не извне, а изнутри, что еще хуже. Олег Кошевой понимает, что он главный виновник «невыносимого унижения» всех людей вокруг, но убивать его не имеет смысла, так как у генерала бесконечное число двойников: стоит убить его и «на место этого генерала появится другой и притом совершенно такой же — с чисто промытым кадыком и блестящими штиблетами»¹⁹. Это как навязчивый кошмар, который невозможно с себя стряхнуть: ирреальное нельзя уничтожить, так как оно размножается бесконечно. Завоеванное идеологическое преимущество — полная контролируемость этих образов — оплачивается дорогой ценой: они приобретают качество неуничтожимости. С возрастанием одного возрастает и другое.

У генерала есть также адъютант на длинных ногах с бесцветными глазами и денщик с палевыми веснушками, являющимися для него таким же фирменным знаком писательского мастерства, как кадык генерала и «страусиные» ноги адъю-

танта. Это не люди и даже не скоты: ими брезгают как «лягушками, ящерицами, тритонами». В их власти советские люди и находятся, и не находятся одновременно: находятся по видимости и не находятся по сути, так как советская власть не прекращается с приходом «тритонов», а лишь уходит на дно, становится невидимой, но тем более ощутимой как единственная реальность.

Все немцы у Фадеева — это серийные персонажи, каждый из них дереализован настолько, что умножаем до бесконечности. «Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, был из тех *отлитых по единой модели прусских жандармов* (курсив мой — М. Р.), каких изображали еще в дореволюционном журнале «Нива»²⁰. По сравнению с типичностью Штоббе — с его туго закрученными, как у морского конька, усам, налитым пивом одутловатым лицом и выпученными глазами мутного бутылочного цвета (такие глаза у многих фадеевских немцев) — видимо, не имеет большого значения, что в СС не было звания штурмфюрера, а был либо штурмшарфюрер, либо штурмбаннфюрер, либо просто штурмман. И это не единственный случай — иногда он просто придумывает эсэсовские звания (например, нескольких несуществующих зондерфюреров), путает армейские звания с эсэсовскими или полицейскими. Нередко более высокое звание, потому что оно менее благозвучно, становится ниже более высокого, но менее впечатляюще звучащего. Говоря о «сливках» краснодонского общества, образовавшихся «как в каком-нибудь Гейльберберге или Баден-Бадене», он ставит на их вершину гауптвахмайстера Брюкнера и вахтмайстера Балдера, а немного пониже оберлейтенанта Шприка и других. Между тем чины и Брюкнера и Балдера — унтерофицерские, значительно ниже оберлейтенанта. Эти тонкости мало заботят писателя, заранее знающего, что наиболее реалистичным будет признано то, что соответствует не какой-то там истории Третьего Рейха, а полученному им социальному заказу. Если нацисты дереализуются, то их главный расовый враг, евреи, практически полностью исчезает. У фадеевских немцев идейно обоснованная расовая ненависть к евреям заменена великой и необоснованной ненавистью к советским людям. Надо обладать поистине незаурядными герменевтическими способностями, чтобы догадаться, что имеет в виду учительница, когда она говорит Олегу Кошевому, что скрывает у себя дома неназванного человека: «И, кажется, ему придется уйти в другой город. У него не так ярко выражена еврейская внешность... Здесь его просто выдадут, а в Сталино у нас есть верные друзья»²¹. Есть еще пара подобных намеков и все. Немцы вынуждены бороться с во многом выдуманными врагами, так как тема военнопленных также не пользовалась популярностью в сталинские времена. Враги подвергнуты исключительно сильной идеологической анестезии и лишены способности действовать, которая присутствует у немцев «Черной книги». Вместе с тем особенно во второй версии «Молодой гвардии» размеры сопротивления настолько преувеличены, а образы нововведенных и доработанных героев-коммунистов столь эпичны и монументальны, что само присутствие немцев в Краснодоне кажется непонятным. Со своей основной задачей, дереализацией образа врага и заменой его совокупностью выдуманных персонажей, писатель справился хорошо — и Сталинская премия, и назначение Генеральным секретарем Союза писателей закономерны. Он уничтожает тела, на которых можно было бы записать знаки боли, являющиеся главной темой «Черной книги». Ликвидируется возможность записи, так как устраняется уникальная поверхность, могущая принять эти знаки на себя — человеческое тело. Боль остается, но сохраняется в каком-то другом месте, не в телах. Запрет на детализацию пытки, калечения, страдания в «Молодой гвардии» исключительно силен, линия индивидуализации практически не прочитывается. Главный парадокс этого текста в том, что, с одной стороны, фикция должна стать ортодоксальной, а с другой — сам же текст пишется, чтобы ее породить (повторяю, во время войны не было и не могло быть готового образа врага, его порождение — акт высшей степени креативный).

Этот порочный круг продуктивен. Писателю предстоит создать правильные образы на основе правильных идей, перевести идеи в образы, угадать механизм перевода. В наиболее креативные моменты писатель-соцреалист обладает достоинством переводчика: оригинал того, что он делает, всегда уже есть и находится вне него. Именно в силу подчиненности своей задачи такой писатель институционально наделяется безусловным статусом творца, власть над читателем гарантирована ему теми же механизмами, которые властвуют над всеми и размещают в его «творческой лаборатории» свой заказ. Изымаясь из тел, боль помещается в исходную точку творчества, радикально меняя его природу. Создаются убедительные оксюмороны: тот же Петер Фенбонг одновременно является буржуа в разговоре с «джентльменом» и убийцей почти во всех других ситуациях. Он и его команда истребляют почти всех положительных героев, тысячекратно превосходящих их своей нравственной и физической силой. В одном эпизоде Валько и Костиевич раскидывают по углам нескольких гестаповцев, а Фенбонга просто нокаутируют, как ватную куклу²². Потом унтер как ни в чем не бывало встает и ведет на расстрел сначала коммунистов, а потом комсомольцев. И все это делается ради того, чтобы в благословенной Германии стало одним лавочником больше! Чтобы совершился акт первоначального накопления! Никакого непродуктивного избытка, связанного с наслаждением причинением боли, не остается. Писатель придумывает типажи на заказ: в первой версии «Молодой гвардии» не хватало образов коммунистов, и вот появляется Бараков, дополняется образ Лютикова. Руководящая роль партии обеспечена. При этом писатель во многом авторизует образы коллективного бессознательного, кое-где подправляя их, утрируя. Немцы создают предприятия (например, тот же Дирекцион, где всем заправляет Бараков) для того, чтобы они служили ширмой для деятельности коммунистоподпольщиков. Они неуклюже соблазняют советских девушек, которые выведывают у них важные военные тайны. Короче, это — немцы на заказ, как дежурное блюдо в какой-нибудь старорежимной столовой: что бы вы ни заказывали, вам принесут именно его — другого просто нет. В то же время впервые изготовить, придумать такое блюдо исключительно трудно: ведь первыми его «дегустировать», кто к этому не особенно привычен, и для них, цензоров, фадеевские немцы, видимо, обладали своим неповторимым вкусом.

Десятки миллионы людей видели войну своими глазами и знали, с какой беспримерной жестокостью она велась. Они также знали, что на оккупированных территориях нацисты истребляли прежде всего евреев и цыган, а также комиссаров и коммунистов, если на последних доносил кто-то из местного населения. Незавидная доля была уготована и военнопленным. Этот-то опыт и подлежал ликвидации и замене чем-то более существенным, чем опыт, — ортодоксальной фикцией. Дерезализуя агентов террора, ликвидируют и их жертв, хотя на неискушенный взгляд кажется, что их просто подменяют. На самом деле ликвидируется не только ортодоксальная, общепризнанная, но и неортодоксальная, созданная писателем жертва — сами молодогвардейцы. Ведь если враг нереален, то нереально и сопротивление такому врагу. Если «самый важный» немецкий генерал поселяется в крошечном домике в Богом забытом Краснодаре, противостояние такой опереточной фигуре также приобретает опереточные черты. Если действия немцев не имеют смысла или имеют фиктивный смысл, то и сопротивление им лишается смысла или приобретает фиктивный смысл. Советская власть не прекращает своего существования ни на один миг, оккупация только осложняет ее функционирование.

Предательство при таком подходе приобретает черты неслышанного демонизма и становится чрезвычайно редким. Предатели просто не знают того, что оккупационный режим вовсе не отменяет советской власти, и поэтому их действия не просто трусливы, но абсурдны. Им предстоит умереть, и они уже мертвы. Об

одном из предателей так и говорится: «Фомин был уже мертв...» То же относится к Стаценко, бывшей пассии Кошевого Лене, которая учит немецких офицеров русским романсам и другим. «Черная книга» была запрещена в числе прочего потому, что слишком акцентировала роль «предателей из местного населения» и тем самым, как казалось цензорам, преуменьшала роль немецких фашистов в уничтожении «мирного советского населения». В романе есть одно исключение — это Стахович, который предает других молодоговардейцев под пытками. Предав, он обрекает себя на непрерывное страдание, значительно большее, чем страдание его товарищей. «Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.

Его мучили, и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека... он выдал штаб “Молодой гвардии” вместе со связными»²³. Стахович — по крайней мере на риторическом уровне — страдает больше всех молодоговардейцев вместе взятых. Чем больше он предает, тем больше страдает. Праведность странным образом спасает остальных молодоговардейцев от реального страдания. Канон запрещает описывать пытки. Между тем вся вина комсомольцев-подпольщиков заключается в краже из грузовика новогодних подарков, предназначенных для немецкой армии. Во всяком случае немцы знают только об этом проступке, что не мешает им прибегнуть к крайне жестокой расправе, мотивированной не виной, а логикой повествования, нового эпоса, строящегося по своим оригинальным законам.

Многое из того, что не нравится краснодонцам в немцах, не имеет отношения к жестокости последних. Это скорее неприятие некоторых европейских навыков поведения сельским в недавнем прошлом населением. Например, «зондерфюрер» Сандерс, подобно оберлейтенанту Шпику, разъезжает по селам и хуторам на мотоцикле в мундире и трусах (потом выясняется, что это кожаные трусы): «казачки при виде его крестились и плевались, как если бы они видели сатану»²⁴. Городская советская молодежь уже в 1970-е годы могла убедиться, что станичники столь же сурово относились к их появлениям на улице в трусах и мини-юбках. Столь же сурово осуждается и генерал Венцель за то, что он икает после еды и, находясь в одиночестве, громко выпускает из себя газы. Другие немцы порицаются за то, что прилюдно моются обнаженными по пояс или совершенно голыми. «Ведь мы же для них хуже дикарей, — говорит Олег Кошевой. — Еще скажи спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших глазах, как это делают эсэсовские солдаты и офицеры на постое!.. Мы должны презирать этих вырождков...»²⁵ На вопрос: «Где у вас умывальник?» — некий ефрейтор получает ответ: «Мы моемся из кружки» — ответ, который возмущает его: «Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки. Очень плохо». Иногда немцы подаются как патологически болтливые, иногда — как не менее патологически молчаливые, замкнутые. Дерезализованное пространство романа наполняется смыслом только один раз, когда из репродуктора звучит голос Сталина с большой неоккупированной врагами земли. Тут следует лирическое отступление: «Тот, кто не сидел при свете коптилки в нетопленной комнате или в блиндаже, когда не только бушует на дворе осенняя стужа, — когда человек унижен, растоптан, нищ, — кто не ловил окоченевшей рукой у потайного радио свободную волну своей родины, тот никогда не поймет, с каким чувством слушали они эту речь из самой Москвы... Дядя Коля выключил радио, и вдруг наступила страшная тишина. Только что это было, и вот уже нет ничего... Позванивает форточка. Осенний ветер свистит за окном. Они сидят одни в полутемной комнатке, и сотни километров горя отделяют их от мира, который только что прошумел...»²⁶ Этот мир в своей полноте сосредоточен в голосе Сталина. Собственно художественная задача Фадеева состоит в том, чтобы напоминать об этой полноте присутствия сквозь «тысячи

километров горя», напоминать до тех пор, пока это горе не станет ирреальным, а присутствие — всеобщим.

По сравнению с «Черной книгой» между дереализованными немцами и советскими патриотами складываются — несмотря на декларируемый «адский», непримиримый характер их противостояния — довольно уютные отношения. Во всяком случае ни о каких ежедневных притеснениях, обысках, практике взятия заложников, неспровоцированных побоях и унижении в романе даже не упоминается. А отправка на работу в Германию, ставшая трагедией для сотен тысяч людей, подается как уловка для слабонервных. Оказывается, этой судьбы можно было легко избежать, отказавшись от регистрации на бирже труда. Все промышленные предприятия, созданные немцами, — лишь ширма для подпольной работы. Поэтому даже самый темный крестьянин, по словам Фадеева, понимает, что «немецкая фашистская власть не только зверская власть, — это уже было видно сразу, — а власть несерьезная, воровская и, можно сказать, глупая власть»²⁷. Правда, глупой она становится в итоге проделанной писателем работы по ее дереализации, а не сама по себе. Кроме того, на нее безжалостно списываются пороки самой советской власти с целой пирамидой «обремененных чинами бездельников». И это также входит в идеологический заказ, который выполняет саванник от соцреализма.

Уютность ситуации подчеркивается тем, что романские немцы почти поголовно говорят на русском языке, хотя и с акцентом. Они способны объясниться с местным населением и даже пошутить. Они внутренне русифицированы. Нечто подобное происходит в послевоенном советском кино, где немцев показывали раньше и чаще, чем в более каноническом и контролируемом романном жанре. Известный писатель-концептуалист Владимир Сорокин вместе с Татьяной Диденко предпринял попытку проанализировать образ фашиста в советском кино в его эволюции от окарикатуривания к отождествлению в фильме-коллаже «Безумный Фриц» (1994). «Немцы» составляли необходимый фон многих военных и послевоенных фильмов. В «Безумном Фрице» предпринята первая попытка классификации фашистов по их жизненным отправлениям: еда, бой, пытки, танцы, пение. Но за этим, чисто внешним, способом упорядочения материала проглядывает другой, более существенный: эволюция этих образов во времени, от чисто фоновых картонных фигур первых послевоенных фильмов до индивидуализированных типажей в духе «Семнадцати мгновений весны». Полная идентичность первоначальных злодеев-автоматов постепенно сменяется запасом дифференциальных признаков, так военная форма в фильмах 1980-х годов — что на первый взгляд парадоксально — передается более достоверно, чем сразу после войны, когда ее еще помнили миллионы людей. Конечным пунктом этого развития является немец как лирический герой постперестроечного воображаемого.

В старых советских фильмах о войне фашизм подспудно, но настойчиво отождествляется с европейским образом жизни, с буржуазными «излишествами», которых не может и должен позволять себе народ-праведник, ведущий священную войну. Это делалось в русле популярной тогда официальной доктрины, отождествлявшей фашизм с диктатурой империалистической буржуазии. Ее сторонники пытались полностью развести фашизм и немецкий народ, но в то же время видели этот народ с огромной дистанции, исторической и культурной, превратно толкуя мотивы его действий. В послевоенном советском кино образ врага подвергается той же дереализации, что и в «Молодой гвардии», хотя большинство этих лент не было канонизировано. Это еще одно доказательство того, что Фадеев создавал свои образы немцев по законам, которые не были им изобретены. Они объяснялись не только заказом, но и тогдашним состоянием бессознательного народа. Анонимные немцы, которые бегут от пущенного под откос поезда, танцуют в ресторане с декольтированными дамами или торжественно сажают дерево, осуществляя цивилизаторскую миссию на Востоке, родственны Фенбон-

гу и Венцелю своей ирреальность, которую не следует путать с произволом. Это необходимая ирреальность: целый период советской истории должен быть вытеснен и заменен своим ортодоксальным образом. Конкретизация образов врага идет в дальнейшем за счет снижения уровня вытеснения: речь бойцов с фашизмом становится более литературной, праведность уже не отождествляется с простотой и безыскусностью, а соответственно и фашист начинает выглядеть более натуралистично. Постепенно в фашистскую образность влюбляются как в объект советской мифологии, она становится частью ностальгии по этой мифологии после распада СССР. Наивность, с которой в сталинское время формировался образ врага, с одной стороны, ставится под сомнение, а с другой — становится объектом любования. Оказывается, образы также имеют историю. Смотри «Безумного Фрица», мы чувствуем ее с точностью до десятилетия. Общество проявляет себя беззащитным по отношению к образам, которые когда-то само же породило: оно отождествляется со своими проекциями. Мифология нацизма, созданная после войны, обеспечивала социальную связность гетерогенного советского общества, сближала самих конструкторов этих мифов, сообщая им качество «благости». Это далеко не верхушечный процесс, заказ на дереализацию шел как сверху, так и снизу, иначе эта мифология не пережила бы Советский Союз и не воспринималась бы с наивной верой миллионами людей. Иначе конкурирующие образы из «Черной книги» и других источников имели бы большие шансы быть признанными. Их слабость, с идеологической точки зрения, состояла в значительно большей достоверности, которой нельзя было манипулировать бесконечно. Они поддавались ограниченной, точечной переделке, тогда как фадеевские образы уже являлись продуктами сложной манипуляции. Общество проявляет такую незаинтересованность в сохранении собственной истории, что история другой страны тем более не может его интересовать как таковая. Оно овладевает ей по праву победителя, но в длительной перспективе это имеет фатальные последствия для него самого: упраздненная история не перестает существовать и постепенно втягивает СССР в свою орбиту, правда, ценой его исчезновения. Но некоторые фрагменты мифологии упорно продолжают жить и после смерти породившей их системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев во временно оккупированных районах Советского Союза и лагерях Польши во время войны 1941—1945 гг. Вильнюс, 1993. С. VI.

2 А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. М., 1971. С. 17.

3 Черная книга. С. 227. Таких примеров очень много. Вот рассказ инженера, устроившего подкоп в Понари, месте массового уничтожения литовских евреев: «Однажды мы пришли с работы, дошли до ямы, вдруг появился штурмфиорер в очень злом настроении. Задаёт вопрос: “Кто болен?” Больных, естественно, не оказалось. Штурмфиорер выстроил всех в две шеренги и сказал: “Я сейчас найду больных”. Он подходил к каждому и пристально смотрел в глаза, буквально сверлил человека глазами. “Вот ты больной, выходи”, — сказал он одному, затем второму. Но это ему оказалось недостаточно. Он подошел к молодому здоровому парню и спросил: “Ты со слесарным делом знаком?” Тот ответил “Знаком”. Его также вывели из рядов и сняли кандалы. Всем было ясно, раз с человека сняли кандалы, значит его поведут на расстрел. Штурмфиорер подошел к четвертому человеку и спросил: “Ты со слесарным делом знаком?” Тот ответил: “Нет, не знаком”. “Ну, ничего, научись, выходи”. С четвертого тоже сняли кандалы и повели наверх». (Там же. С. 387). Другими словами, ответ значения не имел — убивали при любом ответе. Здесь избыток наслаждения над законом проявляется в наиболее чистом виде.

4 Там же. С. 220.

5 Там же.

6 Там же. С. 232.

7 Там же. С. 342.

8 Там же. С. 496—497.

9 А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. С. 315.

10 Там же. С. 488.

11 Там же. С. 489.

12 Там же. С. 490.

13 Там же. С. 492.

14 Там же. С. 490.

15 Черная книга. С. 231. Интересны описания палачей гетто в Вилыносе. Вот портрет Швайнбергера: «Он — “красавец”, этот немецкий офицер... Он высок, элегантен, у него нежная, как у девушки, кожа. Разговаривая, он не глядит в глаза, смотрит искоса, снизу вверх» (Там же. С. 220). А вот портрет Киттеля: «На первый взгляд не верится, что Киттель — палач: постоянно улыбается, ослепительно сверкая зубами, *надушен* (выделено мой. — М.Р.), элегантен, вежлив, воспитан» (Там же. С. 232). Ни о какой грязи и дурном запахе в этих портретах наиболее свирепых эсэсовцев нет речи. О них можно скорее сказать словами Шекспира: «Не ты черна — черны твои дела». Фадеев, как и во многих других случаях, прибегает к буквализации метафоры.

16 Там же.

17 А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. С. 337.

18 Там же. С. 336.

19 Там же. С. 352.

20 Там же. С. 419.

21 Там же. С. 375. В книге «Никогда не забудем. Рассказы белорусских детей о днях Великой Отечественной войны», где умалчивается об уничтожении евреев на территории Белоруссии, есть эпизод, из которого косвенно явствует, что в печах лагерей уничтожения сжигали все-таки исключительно евреев, но не белорусов. Однажды нацисты, перепутав составы, по ошибке решили сжечь белорусов вместо евреев. В последний момент они поняли, что произошла ошибка. Одна из участниц рассказывает: «Вдруг я почувствовала, как пол под нами задвигался и стал наклоняться. Внизу, сбоку, мы увидели огонь — это и была печь крематория. Люди, стоявшие с краю, с криком попадали вниз. Мы тоже не могли удержаться на скользких ногах и начали скатываться к печи. Но в этот момент произошло такое, чего никто не ждал. Пол начал подниматься. Когда он выровнялся — открылись двери и вошли комендант и тот самый немец, что заставлял нас раздеваться. Из их разговора мы поняли, что произошло: немцы перепутали эшелоны и по ошибке приняли нас за евреев» (Никогда не забудем. Минск, 1986. С. 106—107. Впервые эта книга была опубликована в 1948 году). В этом эпизоде разница в обращении с евреями и белорусами проявляется достаточно явно: только евреи почти автоматически подлежали физическому уничтожению. Белорусов чуть не сожгли, *приняв их за евреев*. Подобная редакторская вольность, вероятно, возможна потому, что действие происходит за пределами СССР, в Польше.

22 Там же. С. 479. Такого рода былинное геройство проявляется и в романах о войне, написанных значительно позднее (*В. Быков*. Третья ракета. М., 1972. С. 176—177).

23 Там же. С. 699. То же говорят своим палачам Олег Кошевой: «Его допрашивал гибкий, точно без костей, немец, с лицом, которому страшные фиолетовые полукружья под глазами... придавали вид сверхъестественный, — такой человек мог присниться только в страшном сне... Он (Кошевой — М. Р.) помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: — Да вы и сами уже мертвецы. Этот немец, действительно похожий на мертвеца, все-таки еще спросил что-то. — Эти мои слова — последние, — сказал Олег и опустил ресницы» (*А. Фадеев*. Разгром. Молодая гвардия. С. 727).

24 Там же. С. 574.

25 Там же. С. 388.

26 Там же. С. 607.

27 Там же. С. 364—375.